



[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]

Памяти Леонида ГУБАНОВА

(1946–1983)

Евгений ЛЕСИН, Елена СЕМЁНОВА

«И БИБЛИЮ Я ВЫУЧИЛ ПО СОЛНЦУ...»

В каждой эпохе свои гении. Но мало гениев, которых признают и называют гениями уже при жизни. Да вдобавок они при этом сами осознают гениальность и убедительно транслируют её миру. Таким был Леонид Губанов (1946–1983), в буквальном смысле порвавший неофициальную поэтическую среду шестидесятых. В начале 1965 года вместе с Владимиром Алейниковым, Владимиром Батшевым, Юрием Кублановским, Аркадием Пахомовым и другими он участвовал в создании независимого литературно-художественного объединения «СМОГ» («Смелость, Мысль, Образ, Глубина», «Самое Молодое Общество Гениев»). Печатался в самиздате – альманахах «Авангард», «Чу!» и «Сфинксы». В 1965 году провёл демонстрацию в защиту «левого искусства», принял участие в «митинге гласности» на Пушкинской площади.

Леонид Губанов... По воспоминаниям друзей, нервный, неровный, вспыльчивый, непредсказуемый. Могущий обижать людей, в том числе и самых близких, а потом просить их прощения. Поэтому, как признаётся его друг прозаик, мемуаристка Наталья Шмелькова, сложный в общении. Но при этом возмещающий всё это с лихвой своим обаянием, стихами, картинами (он был также художником-оформителем). Говорят, что называли его не иначе как «Ленечкой».

О феномене поэтики Леонида Губанова, стихи которого были забыты надолго (при жизни его напечатал Евгений Евтушенко в журнале «Юность», первая книга «Ангел в снегу» вышла в 1994 году), сейчас пишут диссертации, но мало кто сделал однозначные выводы. И, может быть, это хорошо – как-то скучно и дидактично, когда автора накрепко подвёрстывают к тому или другому «изму», укладывают в ящичек в архиве, и там он желтеет от времени.

«А за останком старовера, / Который крестик огулил, / На три рубля сходились вербы, / Забыв картофель и кули. / И Бог вынашивал картину, / И крапал праздник-новичок, / И было озеро хотимо, / Как скарлатина на плечо. / А рядом снег, не согрешив / Перед лицом стихотворенья, / Сентябрь чинил карандаши / И рифму стряхивал в колени». Поэзия Губанова тем и парадоксальна, что, не противясь, не противореча всему массиву стилей, мелодик, метафорических систем авторов предшествующих веков, впуская их в себя, перерабатывая, всё же становится чем-то качественно новым.

В приведённой цитате можно услышать раннего Пастернака, в другом месте вдруг вылезает рваный ритм и рифма Маяковского (что неудивительно: у шестидесятников он был очень популярен), в третьем прорывается напевность Есенина, и везде – звукопись, словотворчество Хлебникова, «смещённое» зренье Мандельштама. А иногда в страстном ритме, потоке речи слышится хриплый надрыв Высоцкого: «Слепой монах, малиновый кисель, / И снова чёртом перечеркнут вексель, / По коему я должен бы висеть, / А я румян да и чертовски весел. / Куда смотреть карандашам, когда / И Библию я выучил по солнцу, / Я примеряю рифмы, словно кольца... / Чем меньше тень, тем царственней звезда!»

Он весь – дикая смесь традиции и авангарда. Губанов не стесняется прямых и косвенных цитат, взрывает синтаксис, варьирует ритм в пределах одного стихотворения: всё подчинено порыву, следованию за звуком. словно бы в «Токкате и фуге ре минор» любимого им Баха.

Кстати, о пристрастиях в искусстве. В своей статье «Я – или я наоборот» в антологии «Уйти. Остаться. Жить», куда также вошла подборка стихов Губанова, прозаик, критик Олег Дарк написал, что вселенная поэзии Губанова совершенно не передавала атмосферу Москвы 60-х, в которой он жил. «Если бы какой-нибудь гость из будущего попытался по стихам Губанова восстановить Москву 60–70-х, картина вышла бы фантастическая. По улицам ездят кареты, князья стреляются на дуэли («и не стреляться им нельзя»); старые, конечно, просторные, московские квартиры преобразуются в особняки со статуями и летними садами; рекой льется «клик» и шампанское (вместо водки); офицеры – уланы, гусары – курят длинные трубки и играют в карты и на бильярде; кредиторы донимают должников; дамы в кружевах, кринолинах и ожерельях принимают гостей и объяснения в любви, а им в альбомы пишутся мадригалы и стансы; цыгане поют; поездки в поместья, прогулки верхом, колокола звонят к обедне, и полосатые верстовые столбы стоят вдоль дороги», – пишет критик. Впрочем, тут можно возразить, век XX всё же присутствует в стихах поэта: «Но буду я у родины в гостях / до гробовой, как говорится, крышки, / и самые любимые простят / мой псевдоним, который стоит вышки». И в пределах того же стихотворения цитаты века XIX соседствуют с реалиями следующего: «Гори, костёр, гори, моя звезда. / И пусть, как падший ангел, я расстрелян, / Но будут юность в МВД листать, / когда стихи любовницы разделят».

В «НГ-ЕЛ» от 18.03.04 прозаик, критик Владимир Бондаренко писал (потом этот фрагмент вошёл в его книгу «Последние поэты империи»): «Вспоминаю, как году в 1975-м познакомился с Лёней Губановым на квартире своего приятеля, московского математика, преподавателя МГУ, большого любителя изящной словесности. Губанов был тогда уже изрядно выпивши. С ним пришёл хоровод его девиц и поклонников. Но сам домашний вечер его поэзии всё же состоялся. Впрочем, очевидно, примерно такими же были и другие, в ту пору ещё многочисленные вечера его поэзии, проводившиеся в квартирах учёных, в маленьких библиотеках, в студенческих общежитиях. Читал он свои стихи завораживающе, колдуя над ними, как древний шаман какого-то славянского племени...

Его так и воспринимали – как варвара русской поэзии, несмотря на все его многочисленные ссылки на Верлена и Рембо, на Пушкина и Лермонтова. Он жил исключительно в мире поэзии, в мире русской поэзии, но вольность его обращения и со словом, и с ритмом, и с образами была такова, что весь предыдущий поэтический опыт как бы улетучивался, и он вновь оставался один на один с миром первичности – первичности слова, первичности человека...

По сути, его открыли (спасибо друзьям) лишь в 2003 году, когда, наконец, вышла более или менее полная книга стихов Леонида Губанова «Я сослан к Музе на галеры». Так и был сосланным поэтом все полтора десятилетия перестройки и гласности, тут уже на советскую власть не свалишь...»

Почти каждый, кто пишет о Губанове, цитирует: «Холст 37 на 37. / Такого же размера рамка. / Мы умираем не от рака / И не от старости совсем...» Ну да, умер он в 37. Невозможно удержаться. Но тут ведь как с приметам или предсказаниями – мы их вспоминаем, если они сбываются. Поэты часто пророчат. Самое разное. Противореча самим себе. И если что-то сбылось, так мы про то и говорим: он уже тогда знал, уже тогда предвидел... А про то, что не сбылось, как бы и забываем. Как будто и не предсказывал. Наверное, так и надо. В любом случае по-другому не получается.

Мы и любим в поэтах то, что нам самим близко, самим важно:

Над питейным домом
дым стоит лопатой.
Пахнет пятым томом
и солдатским матом,
и зимой сосновой
в кабаках хрустальных,
и бессмертным словом:
«Как же мы устали!»

Губанова упрекают – и справедливо – в небрежности. А что вы хотите? Сейчас, между прочим, почти все поэты такие. Редакторов-то нет. Или почти нет. Книги выходят «в авторской редакции». В СССР печататься было трудно, часто невозможно, но только те, кто печатался, проходили сквозь игольное ушко советской редактур, которая не только антисоветчину вылавливала, но и неряшливость, упомянутую небрежность. Да и сами поэты, готовя подборки и тем более книги, конечно же, ещё раз читают свои тексты – читают внимательно и придирчиво. Убирая лишнее, добавляя нужное. Прав Бондаренко, даже в перестройку Губанова печатали мало. А был бы жив? Ну, вышли бы, вышли бы книжки же!..

И, кстати, правленные автором.

И – самое главное – сколько бы он мог ещё написать. Есть авторы, которые в какой-то момент перестают или почти перестают сочинять. Дай бог им, тем, кто жив, здоровья, но как писатели и поэты они уже ушли на покой. На заслуженный и часто действительно заслуженный отдых. Но ведь кто-то умирает прямо, что называется, на сцене, прямо в бою, у станка, за рулём, в объятьях музыки – называйте как хотите. Тут уже огорчаешься не только за человека, но и за словесность.

И только чёрный узел
бежит к молочной шее...
Печаль, как водка с гуся
с меня снимает шелест.
С меня снимают маску,
звенит разлуки мускул.
Прости меня за ласку,
прости за то, что русский.
Россия иль Расея,
алмаз или агат...
Прости, что не расстрелян
и до сих пор не гад!

Не стал бы он гадом. Хотя и 90-е людей раскидали по политическим и околополитическим лагерям, и нулевые, да мало ли что ещё? Но не надо, не надо никогда говорить: хорошо, что не дожил до... (здесь может быть что угодно). Нет, господа, плохо, что не дожил. Даже если бы он был по другую сторону баррикад, всё равно — лучше бы, чтобы был.